

Л. Н.
АНДРЕЕВ

Избранное



Леонид Николаевич Андреев

Возврат

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2786025

Аннотация

«... Потом мы говорили о снах, в которых так много чудесного; и вот что рассказал мне Сергей Сергеич, когда все разошлись и мы остались одни в большой и полутемной комнате.

Я до сих пор не знаю, что это было. Конечно, это был и сон, за это говорит простой житейский смысл, но было тут и другое, слишком похожее на правду или на бред с его обманчивыми видениями; но одно я знаю, что в постели я не был, ходил по камере, когда это привиделось мне, и что глаза мои, кажется были открыты. Во всяком случае, в памяти моей о прошлом этот сон... или случай? – занимает такое же твердое место, как все то, что происходило в действительности. Пожалуй, даже крепче...»

Леонид Николаевич Андреев Возврат

... Потом мы говорили о снах, в которых так много чудесного; и вот что рассказал мне Сергей Сергеич, когда все разошлись и мы остались одни в большой и полутемной комнате.

Я до сих пор не знаю, что это было. Конечно, это был и сон, за это говорит простой житейский смысл, но было тут и другое, слишком похожее на правду или на бред с его обманчивыми видениями; но одно я знаю, что в постели я не был, ходил по камере, когда это привиделось мне, и что глаза мои, кажется были открыты. Во всяком случае, в памяти моей о прошлом этот сон... или случай? – занимает такое же твердое место, как все то, что происходило в действительности. Пожалуй, даже крепче.

Случилось это в сумерки. Я уже третий год сидел по политическому делу в петербургском доме предварительного заключения, в одиночной камере, ничего не знал о товарищах и их судьбе, и постепенно погружался в ту холодную и тупую тоску, когда жизнь замирает и дням теряется счет. Читал мало, а больше ходил

по пятиаршинной камере, шагая медленно, чтобы не закружилась голова, и неопределенно думал – вертел все один и тот же валик стирающихся образов, давно прошедших событий, далеких, полузабытых лиц. Но одно лицо я помнил ясно, хотя казалось оно дальше всех и недостижимее всех: это было лицо моей невесты на воле, Марии Николаевны, очень красивой девушки. Ей счастливо удалось избежать ареста, но о дальнейшей ее судьбе я ничего не знал, предполагал, что жива, но и только.

И в эти осенние петербургские ранние сумерки я думал о Марии Николаевне; медленно шагал по асфальтовому полу взад и вперед и думал о ней. Было по-тюремному тихо, темнело, равномерно и медленно поворачивались серые стены, пока не стало казаться, что я совершенно неподвижен, а это – камера вращается неслышно вокруг меня; и вдруг – я оказался в Москве, продолжаю теми же шагами идти по Тверской, вверх, к бульварам. Происходит это днем, зимою; на улице светло,людно и очень беспокойно от движения извозчичьих саней. Я посмотрел на часы – был уже четвертый час, однако «в Петербурге раньше темнеет», – подумал я и вдруг забеспокоился. Приехали мы в Москву с Марией Николаевной по партийным делам, остановились под видом мужа и жены в старой «Лоскутной гостинице», и теперь она остава-

лась одна в номере. Правда, я ей сказал, чтобы она затворилась и никого не пускала... но кто знает? Кто-то мог прийти, кто-то мог ее вызвать, кто-то мог вовлечь ее в ловушку; надо сейчас же вернуться!

Я нанял извозчика до «Лоскутной»; там я быстро пробежал лестницу и два коридора и с облегчением остановился у своего номера: на крючке не было ключа, и, стало быть, Мария Николаевна дома. Условно стучу в дверь, жду – молчание; стучу громче, дергаю ручку, однако – ничего; либо что-нибудь с ней случилось, либо ушла. К счастью, идет коридорный Василий; я к нему:

– Василий, вы не знаете, жена дома или ушла? Никого у нее не было?

Василий не сразу сообразил, народу в номерах много; наконец вспомнил:

– Как же, как же, Сергей Сергеич, барыня уехали, я же сам видел, как выходили из номера; они и ключ в карман положили.

– Одна?

– Нет, с каким-то вашим знакомым; такой высокий, в черной шапке барашковой.

Подробнее неизвестного господина Василий описать не мог, не всмотрелся.

– А передать мне что-нибудь велела?

– Нет, Сергей Сергеич, ничего.

– Не может быть, вы забыли, Василий!

– Нет же, Сергей Сергеич, ничего не велели. Да у швейцара надо спросить, может, ему что сказали.

Пошли к швейцару, Василий со мною – понял, что я в беспокойстве: никаких знакомых в Москве у нас не должно было быть, и высокий господин в черной барашковой шапке внашал мне сильнейший страх. Но и швейцару Мария Николаевна ничего не передавала; становилось совсем нехорошо.

– А в какую сторону они хоть пошли? – допытывался я у швейцара, решительно не зная, что делать и где искать.

– Да постойте, Сергей Сергеич, как же я забыл: я же им и извозчика нанимал, как же!

– Куда?

– Куда, не знаю, а только я извозчика кликал; да вон он и стоит, вернулся, значит. Тот самый, я помню!

В это время мы уже вышли на улицу и стояли около парадного; швейцар подозвал извозчика, и тот рассказал, что действительно только что отвез двоих, барыню и барина, ехать пришлось далеко; улицы, на которой ссадил седоков, извозчик не знает, так как редко бывает в той стороне, и ехал по указаниям. Как же быть?

– А ты, может, так ее найдешь, улицу-то, по памяти? – спросил швейцар, желавший мне помочь. – Не

первый год ведь едешь!

Извозчик подумал и согласился:

– Найти-то найду, да лошадь заморилась. Не знаю, ехать ли.

Но я уговорил извозчика, обещал хорошо ему заплатить, и вот мы поехали; помню еще, как подтыкал мне полость швейцар, усаживая, и как он крикнул вдогонку:

– В добрый час, Сергей Сергеич!..

И первое время было совсем радостно ехать: след нашелся – это главное, а дальнейшее – вопрос только времени, получаса или уж, в крайнем случае, часа; и на улицах было весело. Фонари еще не зажигались, но в магазинах и лавках везде уже горел огонь, было шумно и многолюдно, на перекрестках приходилось ждать, и на самое почти плечо ложилась, дыша паром, морда, задней извозчичьей лошади. По веселой суете похоже было на предрождественские сумерки; да так оно и оказалось – и как я мог забыть! – на Театральной площади темнела среди снега целая рощица молоденьких елок, густо-зеленых, пахнущих, совсем не похожих на срезанные. Около прохаживались какие-то темные фигуры в полушубках и чуйках, и от них также веяло лесною далью, не городским.

Так мы проехали еще две-три веселых и шумных улицы; вспыхнули, наконец, фонари, и стало совсем

празднично, легко и радостно, как в детстве; но улицы все тянулись, некоторые попадались совсем невозможной длины, и вот мы уже оказались в части Москвы, которой я совсем не знал. Что-то еще вначале называл извозчик, какие-то улицы с непривычно и странно звучащими именами, но дальше в переулках замолчал: началось неведомое и для него. Вообще неприятно ехать по городу, которого не знаешь: тогда эти ломаные, запутанные и странные проходы между домами теряют свою планомерность и значение улиц, является чувство неуверенности в направлении и вместе с ним смутный намек на какую-то безысходность; когда же таким неведомым городом оказалась Москва, которую, как мне думалось, я хорошо знал, стало совсем неприятно, даже жутко. От темных дыр безымянных переулков, в которые мы погружались, пахло какой-то опасностью, — обманом, предательством. С силою вспоминалась Мария Николаевна и тот неизвестный в барашковой шапке, захотелось бежать, нестись вскачь, а извозчик плелся все с той же усталой медленностью, поворачивал, кружил, молча и неуверенно, дергал вожжами. Его неподвижная спина приковывала взгляд, и уже начинало казаться мне, что всю жизнь я только и видел, что эту спину, зная ее каким-то последним, совершеннейшим знанием, как нечто вечное, предназначенное, всегда одно и то же.

И все реже становились фонари, и все меньше попадалось освещенных лавок и освещенных окон в домах: как будто здесь была уже ночь и все спали. На одном завороте извозчик остановился.

– Что ты? Лошадь не идет, – отчего ты стал? – спросил я с беспокойством.

Извозчик молчал. И вдруг круто, чуть не вывалив меня из накренившихся саней, повернул назад.

– Заблудился?

Он помолчал и неохотно ответил:

– Мы уже тут были. Разве не узнаете?

Я огляделся. И действительно узнал – именно вот эту комбинацию фонаря, панели, с сугробиком снега возле, и каменного темного двухэтажного дома: да мы тут уже были! И вот здесь началось самое невыносимое: мы стали бесконечно долгое время кружиться по переулкам и улицам, где мы уже были; и куда мы ни поворачивали, мы не могли уйти от места, где мы уже были, – и, может быть, не раз. Пересекли большую улицу с светлыми магазинами и народом – и я ее узнал; а немного спустя мы снова пересекаем ее, и тот же городской стоит на перекрестке.

– Спросить бы кого-нибудь!.. – сказал я нерешительно.

– А что спросить-то? – угрюмо, помолчав, ответил извозчик. – Едем, а куда, и сами не знаем.

– Ты же говорил...

– То-то, что говорил.

– Постарайся, голубчик! Мне это... очень важно, очень. Извозчик молчал. И когда мы отъехали уже полпереулка, нехотя ответил:

– Я и стараюсь. А что ж я делаю?

Наконец мы как-то выбились из круга: вот этого переулка с длинным забором я еще не видал; и извозчик увереннее задергал вожжами и даже сказал коротко, не оглядываясь:

– Это самое.

– А скоро?

– Не знаю. Нет, еще не скоро.

И тут для меня наступил новый ужас: почти полной темноты и бесконечных заборов, каких-то старых садов, свешивавших ветви огромных деревьев на средину дороги, каких-то пустырей, каких-то темных, без единого огонька зловещих домов, казавшихся необитаемыми. Как могла попасть сюда Мария Николаевна? – и что могли с нею здесь сделать? Несомненно, ловушка; несомненно, какое-то страшное и жестокое предательство. Кто этот высокий, который увел ее? – у нас нет в Москве и не должно быть знакомых.

А заборы все тянулись, и нет им конца; и я уже ничего не понимаю: новые ли это заборы, или же и здесь мы вошли в безысходный круг и никуда не при-

ближаемся; может быть, отходим назад. Все кажется знакомым и незнакомым, и сердце начинает биться сильными, редкими, глухими толчками, когда извозчик вдруг говорит:

– Сейчас будет. – Где?

– Вон тот забор. Там калитка есть.

Да, вот и забор, вот и калитка в заборе: темно, но калитку видно. Остановились. Путаясь в полости, я быстро соскакиваю, перелезаю сугроб и подхожу к калитке. Заперта, и нет намека ни на звонок, ни даже на ручку, за которую можно бы схватиться и дергать. Над забором свешиваются глухие, старые, опущенные снегом деревья, и тихо. Становится положительной и страшной загадкой: что за роковая необходимость привела сюда Марию Николаевну? От мучительных предчувствий горя и зла захватывает дыхание, ноги слабеют и дрожат, подкашиваются в коленях.

Я осторожно стучу, – никакого ответа. Постучал громче, – никакого ответа; все та же тишина и глухие, змеящиеся ветви, точно окрашенные белым по одному боку. В заборе щель – заглядываю: расчищенная, видимо, дорожка, за нею в глубине темный, страшный, без единого огонька притаившийся дом. Но в нем есть люди, в нем что-то совершается – это я чувствую, я знаю это, слишком явен вид предательства у страш-

ного притаившегося дома с притворно темными окнами!

И уже ничего не остерегаясь, я начинаю кулаками изо всей силы стучать в калитку. Кричу, отворите! Отдельные удары сливаются в один сплошной гул, вся улица всеми своими пустыми заборами отзывается на этот гул, я сам утопаю в нем и уже не слышу своего крика. Больно рукам, но я стучу все яростнее, калитка, забор, вся улица гудит, как деревянный мост, по которому вскачь проносится пожарный обоз, – и вот мелькает желтоватый свет, пробивается в щель, скользит по ветвям, неровно колышется. Идут с фонарем! Я перестаю стучать. Свет все ближе. Уже слышны шаги и тихие голоса – подходят! Сердце колотится от страха и ожидания: что-то пугающее есть в тихих голосах, колеблющемся неровном свете. Остановились за калиткой, непонятно медлят; но вот звенят ключи, целая связка, гремит запор – и яркий свет ударяет мне в глаза, калитка открылась. Калитка открылась, и за порогом ее – мой, мой тюремный надзиратель с лампочкой в руке и рядом с ним его помощники. Мой надзиратель! Откуда он здесь? – я сразу ничего не могу ни сообразить, ни понять. Куда же я приехал? Куда же я сейчас так стучал? В моей камере темно, а оба они, надзиратель и его помощник, ярко освещены, и за ними освещенный коридор, но мне все еще кажет-

ся, что я не в камере, а на той самой улице, и что это не дверь в мою камеру открылась, а та страшная и таинственная калитка. Кажется, я крикнул:

– Кто это?

Оба они, освещенные, все еще стоят за порогом и удивленно смотрят на меня, и надзиратель говорит:

– Что это вы, Сергей Сергеич, что вы так стучите? А я лампу к вам несусь, вдруг слышу – что за стук! Лампу возьмите, а сейчас и кипятик будет. Не надо так стучать, нехорошо!

И вот лампа в моей руке, и вот с привычным стуком захлопывается дверь; да, это моя камера! Да, я в своей камере – и больше нигде.

...Таков был мой сон или то, что называют сном. Так, уйдя – я вернулся; так после долгого и мучительного блуждания по кругам я завершил последний круг – и постучался в двери моей же тюрьмы.